

Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид.

Л.-Ф. Селин. Церковь

*Посвящается Бобру**

* Бобр — дружеское прозвище Симоны де Бовуар.

От издателей

Эти тетради были обнаружены в бумагах Антуана Рокантена. Мы публикуем их, ничего в них не меняя.

Первая страница не датирована, но у нас есть веские основания полагать, что запись сделана за несколько недель до того, как начат сам дневник. Стало быть, она, вероятно, относится самое позднее к первым числам января 1932 года.

В эту пору Антуан Рокантен, объездивший Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, уже три года как обосновался в Бувиле, чтобы завершить свои исторические разыскания, посвященные маркизу де Рольбону.

Листок без даты

Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упускать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести их

в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кiset, потому что ЭТО-ТО и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены.

Взять хотя бы вот этот картонный футляр, в котором я держу пузырек с чернилами. Надо попытаться определить, как я видел его до и как теперь ...*. Ну так вот, это прямоугольный параллелепипед, который выделяется на фоне... Чепуха, тут не о чем говорить. Вот этого как раз и надо остерегаться — изображать странным то, в чем ни малейшей странности нет. Дневник, по-моему, тем и опасен: ты все время начеку, все преувеличиваешь и непрерывно насилуешь правду. С другой стороны, совершенно очевидно, что у меня в любую минуту — по отношению хотя бы к этому футляру или к любому другому предмету — может снова возникнуть позавчерашнее ощущение. Я должен всегда быть к нему готовым, иначе оно снова ускользнет у меня между пальцев. Не надо ничего ...**, а просто тщательно и в мельчайших подробностях записывать все, что происходит.

Само собой, теперь я уже не могу точно описать все то, что случилось в субботу и позавчера, с тех пор прошло слишком много времени. Могу сказать только, что ни в том, ни в другом случае не было того, что обыкновенно называют «событием». В субботу мальчишки бросали в море гальку —

* Одно слово пропущено. — *Примеч. издателей.*

** Одно слово зачеркнуто (не то «искажать», не то «измышлять»), другое, надписанное сверху, совершенно неразборчиво. — *Примеч. издателей.*

«пекли блины», — мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверно, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед.

Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с другой — влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться.

Позавчерашнее было много сложнее. И к нему еще добавилась цепочка совпадений и недоразумений, для меня необъяснимых. Но не стану развлекаться их описанием. В общем-то ясно: я почувствовал страх или что-то в этом роде. Если я пойму хотя бы, чего я испугался, это уже будет шаг вперед.

Занятно, что мне и в голову не приходит, что я сошел с ума, наоборот, я отчетливо сознаю, что я в полном рассудке: перемены касаются окружающего мира. Но мне хотелось бы в этом убедиться.

*10 часов 30 минут**

В конце концов, может, это и впрямь был легкий приступ безумия. От него не осталось и следа. Сегодня странные ощущения прошлой недели кажутся мне просто смешными, я не в состоянии их

* Речь несомненно идет о вечере. Абзац, который за этим следует, написан гораздо позже предыдущих. Мы полагаем, что запись сделана не раньше чем на другой день. — *Примеч. издателей.*

понять. Нынче вечером я прекрасно вписываюсь в окружающий мир, не хуже любого добропорядочного буржуа. Вот мой номер в отеле, окнами на северо-восток. Внизу — улица Инвалидов Войны и стройплощадка нового вокзала. Из окна мне видны красные и белые рекламные огни кафе «Приют путейцев» на углу бульвара Виктора Нуара. Только что прибыл парижский поезд. Из старого здания вокзала выходят и разбредаются по улицам пассажиры. Я слышу шаги и голоса. Многие ждут последнего трамвая. Должно быть, они сбились унылой кучкой у газового фонаря под самым моим окном. Придется им постоять еще несколько минут — трамвай придет не раньше чем в десять сорок пять. Лишь бы только этой ночью не приехали коммивояжеры: мне так хочется спать, я уже так давно недосыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну-единственную, и все снимет как рукой.

Одиннадцать сорок пять, бояться больше нечего — коммивояжеры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю, ему оставляют второй номер на втором этаже — тот, в котором биде. Он еще может притащиться, он частенько перед сном пропускает стаканчик в «Приюте путейцев». Впрочем, он не из шумных. Маленький, опрятный, с черными нафабранными усами и в парике. А вот и он.

Когда я услышал, как он поднимается по лестнице, меня даже что-то кольнуло в сердце — так успокоительно звучали его шаги: чего бояться в мире, где все идет заведенным порядком? Помоему, я выздоровел.

А вот и трамвай, семерка. Маршрут: Бойня — Большие доки. Он возвещает о своем прибытии громким лязгом железа. Потом отходит. До отказа набитый чемоданами и спящими детьми, он удаляется в сторону доков, к заводам, во мрак восточной части города. Это предпоследний трамвай, последний пройдет через час.

Сейчас я лягу. Я выздоровел, не стану, как маленькая девочка, изо дня в день записывать свои впечатления в красивую новенькую тетрадь.

Вести дневник стоит только в одном случае — если...*

Дневник

Понедельник, 29 января 1932 года

Со мной что-то случилось, сомнений больше нет. Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня исподтишка, капля по капле: мне было как-то не по себе, как-то неуютно — вот и все. А угнездившись во мне, она затаилась, присмирела, и мне удалось убедить себя, что ничего у меня нет, что тревога ложная. И вот теперь это расцвело пышным цветом.

Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами, им

* На этом недатированный текст обрывается. — *Примеч. издателей.*

даются родовые наименования — например, Че-
столюбие или Корысть. Между тем, если бы я хоть
немного знал самого себя, воспользоваться этим
знанием мне следовало бы именно теперь.

Например, что-то новое появилось в моих ру-
ках — в том, как я, скажем, беру трубку или держу
вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь
как-то иначе дается в руки. Вот недавно я соби-
рался войти в свой номер и вдруг замер — я по-
чувствовал в руке холодный предмет, он приковал
мое внимание какой-то своей необычностью,
что ли. Я разжал руку, посмотрел — я держал всего-
навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке
ко мне подошел поздороваться Самоучка*, а я не
сразу его узнал. Передо мной было незнакомое
лицо, и даже не в полном смысле слова лицо.
И потом, кисть его руки, словно белый червяк в
моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука
вяло повисла вдоль тела.

То же самое на улицах — там множество непре-
станных подозрительных звуков.

Стало быть, за последние недели произошла
перемена. Но в чем? Это некая абстрактная пере-
мена, ни с чем конкретным не связанная. Может,
это изменился я? А если не я, то, стало быть, эта
комната, этот город, природа; надо выбирать.

Думаю, что изменился я, — это самое простое
решение. И самое неприятное. Но все же я должен

* Ожье П..., о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Рокантен познакомился с ним в 1930 году в бувильской библиотеке. — *Примеч. издателей.*

признать, что мне свойственны такого рода внезапные превращения. Дело в том, что размышляю я редко и во мне накапливается множество мелких изменений, которых я не замечаю, а потом в один прекрасный день совершается настоящая революция. Вот почему людям представляется, что я веду себя в жизни непоследовательно и противоречиво. К примеру, когда я уехал из Франции, многие считали мой поступок блажью. С таким же успехом они могли бы толковать о блажи, когда после шестилетних скитаний я внезапно вернулся во Францию. Я, как сейчас, вижу себя вместе с Мерсье в кабинете этого французского чиновника, который в прошлом году вышел в отставку в связи с делом Петру. А тогда Мерсье собирался в Бенгалию с какими-то археологическими планами. Мне всегда хотелось побывать в Бенгалии, и он стал уговаривать меня поехать с ним. С какой целью, я теперь и сам не пойму. Может, он не доверял Порталю и надеялся, что я буду за ним присматривать. У меня не было причин для отказа. Даже если бы в ту пору я догадался об этой маленькой хитрости насчет Порталю, тем больше оснований у меня было с восторгом принять предложение. А меня точно разбил паралич, я не мог вымолвить ни слова. Я впился взглядом в маленькую кхмерскую статуэтку на зеленом коврикe рядом с телефонным аппаратом. И мне казалось, что я весь до краев налился то ли лимфой, то ли теплым молоком. Мерсье с ангельским терпением, маскировавшим некоторое раздражение, втолковывал мне:

— Вы же понимаете, мне надо все официально оформить. Я уверен, что в конце концов вы скажете «да», так лучше уж соглашайтесь сразу.

У него была черная, с рыжеватым отливом, сильно надушенная борода. При каждом движении его головы меня обдавало волной духов. И я вдруг очнулся от шестилетней спячки.

Статуетка показалась мне противной и глупой, я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд — теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее: передо мной, раскинувшись с этакой небрежностью, маячила некая мысль — обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась, но я не мог на нее глядеть: так она была мне омерзительна. И все это слилось для меня с запахом, который шел от бороды Мерсье.

Я встряхнулся, преисполненный злобы на Мерсье, и сухо ответил:

— Спасибо, но я уже слишком давно разъезжаю, пора возвращаться во Францию.

И через два дня сел на пароход, идущий в Марсель.

Если я не ошибаюсь, если все накапливающиеся симптомы предвещают новый переворот в моей жизни, скажу прямо — я боюсь. И не потому, что жизнь моя так уж богата, насыщена, драгоценна. Я боюсь того, что готово народиться, что

завладеет мной и увлечет меня — куда? Неужели мне опять придется уехать, бросить, не закончив, все, что я начал — исследования, книгу? И потом через несколько месяцев, через несколько лет вновь очнуться изнуренным, разочарованным среди новых руин? Я должен разобраться в себе, пока не поздно.

Вторник, 30 января

Ничего нового.

С девяти до часу работал в библиотеке. Привел в порядок XII главу и все, что касается пребывания Рольбона в России до смерти Павла I. Эта часть работы закончена — к ней нужно будет вернуться только при переписке набело.

Сейчас половина второго. Сажу в кафе «Мабли», ем сэндвич, все почти в порядке. Впрочем, в любом кафе все всегда в порядке, и в особенности в кафе «Мабли» благодаря хозяину мсье Фаскелю, на лице которого с успокоительной определенностью написано: «прохвост». Близится час, когда он уходит поспать, глаза у него уже покраснели, но повадка все такая же живая и решительная. Он прохаживается между столиками, доверительно наклоняясь к клиентам:

— Все хорошо, мсье?

Я с улыбкой наблюдаю его оживление — в часы, когда его заведение пусто, пустеет и его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается, тогда мсье Фаскель сонно делает несколько шагов, офи-

цианты гасят свет, и сознание его выключается — наедине с собой этот человек всегда спит.

Но пока в кафе еще остается десятка два клиентов — это холостяки, невысокого ранга инженеры, служащие. Обычно они наспех обедают в семейных пансионах, которые зовут своей столовкой, и поскольку всем им хочется позволить себе шикнуть, они, пообедав, приходят сюда выпить по чашечке кофе и поиграть в кости. Они шумят, негромко и нестройно, — такой шум мне не мешает. Им тоже, чтобы существовать, надо держаться кучно.

А я живу один, совершенно один. Не разговариваю ни с кем и никогда; ничего не беру, ничего не даю. Самоучка не в счет. Есть, конечно, Франсуаза, хозяйка «Приюта путейцев». Но разве я с ней разговариваю? Иногда после ужина, когда она подает мне кружку пива, я спрашиваю:

— У вас сегодня вечером найдется минутка?

Она никогда не говорит «нет», и я иду за ней следом в одну из больших комнат на втором этаже, которые она сдает за почасовую или поденную плату. Я ей не плачу — мы занимаемся любовью на равных. Она получает от этого удовольствие (мужчина ей нужен каждый день, и кроме меня у нее есть еще много других), а я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которой мне слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем. Да и к чему? Каждый занят собой, впрочем, для нее я прежде всего клиент ее кафе.

— Скажите, — говорит она, стягивая с себя платье, — вы пробовали аперитив «Брико»? На этой